

«ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ» И РЕГУЛЯРНОЕ ПРАВО: ДИХОТОМИЯ КАРЛА ШМИТТА

Р.В. ГУЛЯЕВ

В политической мысли XX в. едва ли найдется фигура, вызывающая столь же широкий спектр реакций, как немецкий мыслитель Карл Шмитт. Представитель течения «консервативной революции», критик веймарского парламентаризма и либеральной демократии; теоретик, давший фундаментальные определения понятиям суверенитета и политического; прагматик, пытавшийся использовать нацистский режим для укрепления собственных позиций в академической среде; мыслитель во «внутренней эмиграции», сохранивший верность собственным взглядам и после войны, несмотря на фактическое исключение из публичной интеллектуальной жизни страны, — любая из этих трактовок образа Шмитта может быть в достаточной степени аргументирована.

В этой статье речь пойдет о достаточно противоречивом этапе жизни Шмитта, обычно остающемся на периферии внимания исследователей, а именно о «чужовищной среде», в которой Шмитт «завяз уже в 1912 г. и оставался в ней до 1919 г.»¹ — среде поэтов-романтиков, предлагавших свое видение этого переломного для Европы времени и места Германии в послевоенном мире. Увлечение Шмитта вылилось в несколько произведений, главное из которых — очерк о поэме «Северное сияние» Теодора Дойблера². Проследивая преемственность поэзии Дойблера от идей «великих швабов» Гегеля и Шеллинга, Шмитт провозглашает его тем, в ком духовное единство Запада из мечты стало реальностью. Гений возносится над рациональностью, художественное постижение истины — над точностью научных формулировок, а либеральные ценности гуманизма и терпимости объявляются атрибутами царства Антихриста³. Однако уже в скором времени Шмитт пересмотрел свои взгляды и на романтизм, и на перспективы объединения Европы.

В 1919 г. вышла работа «Политический романтизм»⁴, в которой Шмитт исследует особенности «романтического субъекта» и реализацию этой модели в области политического. Романтический субъект — это тот, который в любой ситуации видит в первую очередь возможность для творческой самореализации, оформления собственного переживания, при этом не слишком беспокоясь о соответствии своего высказывания истинному положению вещей. «Его аргументы и умозаключения представляют собой своеобразно окрашенное оформление его утвердительных и отрицательных аффектов, которые, будучи однажды окказиональным образом возбуждены каким-либо предметом внешнего мира, вращаются с тех пор в "возвышенном

кружении” вокруг себя самих»⁵. Следствием этой установки является зачастую демонстрируемая романтиками поверхностность в описании исторических событий, политических и правовых контекстов, в которых действует личность. Особенное значение эти обстоятельства приобретают в условиях парламентской демократии, когда романтики из субъектов творчества становятся субъектами политики. Парламент превращается в трибуну для бесконечной «говорильни» и самопрезентации, оказываясь неспособным к быстрым и решительным действиям в случае необходимости.

В своей статье «Ужасы автономии» Юрген Хабермас высказывает надежду, что Шмитт не окажет такого «мощного тлетворного влияния на англосаксонский мир», как Ницше и Хайдеггер, и одновременно «разоблачает» подлинную сущность якобы нейтрального исследовательского интереса Шмитта к тем или иным проблемам. «За полемическим высказыванием Карла Шмитта о политическом романтизме скрываются эстетизированные колебания его собственной политической мысли. И в этом отношении его духовное родство с фашистской интеллигенцией проявляется со всей отчетливостью»⁶.

Джон Ролз в предисловии к «Политическому либерализму» высказывается в более общем ключе, не указывая прямо на роль Шмитта в приходе нацистов к власти, но, безусловно, подразумевая не в последнюю очередь именно его: «Причина падения Веймарского конституционного режима заключалась в том, что ни одна из традиционных немецких элит не поддержала его конституцию и не желала участвовать в ее претворении в жизнь. Никто из представителей этих элит более не верил в состоятельность либерального парламентаризма... Не имевший их поддержки президент Гинденбург был вынужден обратиться к Гитлеру, который такой поддержкой обладал и о котором консерваторы думали, что смогут его контролировать»⁷.

Американский историк Ричард Волин занимает нейтральную позицию по отношению к политическим метаниям Шмитта, указывая на важнейшую проблему его творчества. «Шмитт ясно дает понять, что [утверждением о том, что «Гегель умер»] он не пытается подвергнуть сомнению священную традицию этатизма в немецкой политической мысли — напротив, он сам пытается сделать в нее посильный вклад»⁸. Смерть гегелевского *Rechtsstaat*, т.е. «верховенства закона», конституционного правового государства, которую сам Шмитт и диагностирует в статье «Государство, движение, народ», вышедшей вскоре после прихода Гитлера к власти, является для него, по словам Волина, «сомнительным поводом для радости»⁹, однако одновременно — тем условием, в котором отныне предстоит жить.

Как можно заметить, все эти трактовки так или иначе предполагают скорее *концептуальный*, нежели *исторический* подход к взглядам Шмитта. Однако более продуктивным представляется не пытаться

свести все творчество Шмитта к какому-либо одному высказыванию, а попробовать увидеть развитие этой проблематики в работах, следовавших непосредственно за «Политическим романтизмом».

«Диктатура» как ответ романтикам

Вышедшая в 1921 г. работа «Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы» во многом является практическим продолжением этой критики. Относительно небольшой текст посвящен восстановлению оригинального значения понятия диктатуры (которое уже в то время воспринималось в значительной степени как идеологический лозунг, а не как научный термин). Диктатура описывается в последовательной исторической перспективе — как теоретический конструкт и как инструмент политики — от Античности до реставрации французской монархии после Наполеоновских войн. Шмитт выделяет два типа диктатуры: традиционный комиссарский, когда законный суверен временно передает часть своей власти отдельному лицу для выполнения какой-либо конкретной задачи, и суверенный, когда ничем не ограниченная диктатура производится от лица некоторой надполитической сущности (например, *volonté générale*, «всеобщей воли») и служит основанием для создания принципиально нового политического порядка. Завершается работа появившимся во втором издании 1928 г. приложением, в котором содержится анализ Веймарской конституции, указание на ее слабые пункты и предложения по расширению экстренных полномочий президента, что помогло бы обеспечить большую стабильность политической системы в случае кризиса. Таким образом, он буквально по пунктам реализует альтернативную «политическим романтикам» программу: кладет в основу сюжета определенный *политический концепт* и последовательно отслеживает как его теоретическое развитие в научных трактатах, так и практическую реализацию в различных юридических документах. Собственную *субъективность* из повествования он тщательно устранил, занимая подчеркнуто нейтральную позицию. Вместо «возвышенного кружения» над выбранной темой предлагается строгий концептуальный анализ, прагматически привязанный к актуальным политическим вызовам.

В этой статье мы проанализируем те фрагменты «Диктатуры», где этот подход Шмитта выражен наиболее ярко, и постараемся ответить на ряд вопросов. *Во-первых*, действительно ли в этой работе продолжается линия «Политического романтизма» и помимо прямо названных задач Шмитт предлагает альтернативу бессодержательному с политико-правовой точки зрения романтическому анализу определенных исторических событий? *Во-вторых*, можно ли преодолеть авторскую установку на исследовательскую нейтральность и выделить его собственные оценки описываемых явлений? И, *в-третьих*,

насколько оправданными с точки зрения этой работы выглядят расхожие представления о Шмитте как об этакисте и консерваторе, отстаивающем максимально дегуманизированную концепцию политического (в противоположность, опять-таки, либерально-демократической установке)?

Анализ «Диктатуры» с учетом указанных вопросов стоит начать не с открывающего работу раздела об истории понятия от Античности до Ренессанса, а с весьма показательного «Экскурса о Валленштейне-диктаторе», которым Шмитт заканчивает вторую главу. История герцога Альбрехта фон Валленштейна, имперского генералиссимуса времен Тридцатилетней войны, предоставляет богатый материал для самых разнообразных романтических (в широком понимании) трактовок. Личность в истории, честолюбие против верности долгу, коварная судьба, возвышающая своих любимцев, чтобы затем сокрушить их, — все эти темы вполне однозначно отсылают нас к романтической литературной традиции, и показательное, что самое известное художественное произведение, посвященное этим событиям, — трилогия «Лагерь Валленштейна — Пикколомини — Смерть Валленштейна» — принадлежит Шиллеру, одной из наиболее значимых фигур для немецкого романтизма XIX в. Центральный сюжет трилогии — обстоятельства, предшествовавшие убийству генералиссимуса. Валленштейн, стремящийся к скорейшему завершению опустошительной войны, начинает тайные переговоры со шведами. Об этом становится известно другим имперским военачальникам, которые мечтают обвинить Валленштейна в измене и занять его место. Сын главного заговорщика, молодой командир кирасирского полка Макс Пикколомини, разрывается между верностью императору, личной преданностью Валленштейну и любовью к его дочери Тэкле. В итоге большая часть офицеров отворачивается от генералиссимуса, Пикколомини, будучи не в силах преодолеть противоречий, погибает, Валленштейн бежит в Эгер, где также гибнет от рук заговорщиков. Функционально «диктатура» Валленштейна описывается, например, следующим образом (реплика графини Терцки): «Страшным ты им всегда являлся; и неправ совсем не ты, который постоянно был верен самому себе, а те, которые, страшась тебя, однако вручили власть тебе же... Ты восемь лет назад огонь и меч по всей земле германской с собою нес... с презрением относился к имперским всем законам, признавал одни права — неумолимой силы и попираал немецких всех владык, чтоб расширять для своего султана (т.е. императора. — Р. Г.) владычество»¹⁰. Все это вполне соответствует взгляду Шмитта на представления романтиков о политике — диктаторство Валленштейна является, можно сказать, его «личной чертой», подчеркивающей величие и противоречивость его души, при этом реальные полномочия описываются максимально абстрактно и представляют для автора явно второстепенный интерес.

Можно лишь предполагать, насколько общим местом в европейской литературе стала именно такая трактовка этого сюжета.

На первый взгляд, Шмитта, кроме вопроса, есть ли формальные основания для того, чтобы считать Валленштейна диктатором, вообще ничего не интересует. В первом же абзаце он довольно язвительно упоминает¹¹ (Далее ссылки на эту работу даются в скобках. — *Ред.*) о традиции использования термина «диктатура» в качестве «политического словца» применительно к Валленштейну и затем дает собственный последовательный и подробный анализ проблемы. Результат оказывается достаточно неожиданным: в 10 пунктах сохранившегося договора между Валленштейном и Фердинандом II оговариваются лишь чисто военные полномочия главнокомандующего, а также полагающееся ему вознаграждение за службу. Ему прямо запрещается принимать самостоятельные политические решения вроде заключения перемирия или законодательного ограничения прав имперских сословий. Рассуждения о личных качествах генералиссимуса и его амбициях, лежавшие в основе большинства предыдущих высказываний на эту тему — от Пуфендорфа до Шиллера, — оказываются для Шмитта предметом глубоко второстепенным, поскольку в действительности ни на одном из этапов карьеры Валленштейна речь не шла о предоставлении ему диктаторского полномочия. Следовательно, он и не может рассматриваться как политический субъект, принимающий политические решения (а его субъективные черты обладали бы политическим значением лишь в этом случае). Четко проговорив фактическую сторону дела, Шмитт все же позволяет себе ремарку относительно личных качеств Валленштейна, характеризуя его как «необычайно способного организатора... руководствующегося только рациональными идеями целесообразности» и явившего «великолепный по своей исторической уникальности пример меркантилистского государственного правления», но при этом абсолютно чуждого «почтению к действующим уложениям Священной Римской империи и к унаследованным привилегиям сословий» (С. 114). Однако возникает вопрос: если Валленштейн никогда не был подлинным политическим субъектом, то кто им был в этой ситуации?

Политическим субъектом, принимающим решение об отмене действующего законодательства и введении чрезвычайных полномочий, мог стать только император, однако он «не решился добыть для себя исключительные права на основании своего полномочия» (С. 116). Шмитт остается верным себе и не дает прямых оценок этому решению (вернее, нерешительности) Фердинанда II, говоря лишь о том, что Священная Римская империя могла бы стать подлинной монархией и что эта возможность не состоялась. Однако косвенно его отношение к этой ситуации все же можно вывести из одного обстоятельства. Говоря о вступлении на престол Фердинанда III в декабре 1636 г., он

употребляет термин «капитуляция» (Там же) для обозначения того факта, что отказ нового императора от претензий на полную суверенную власть был закреплен на государственно-правовом уровне. До реального окончания войны в этот момент оставалось еще 12 лет. Почему же Шмитт, вообще-то не склонный в своих работах к излишним эффектам, использует такой сильный термин?

Вероятно, здесь Шмитт стремится указать на тот факт, что именно отказ от возможности объявления чрезвычайной ситуации окончательно превращает Священную Римскую империю, *civitas christiana*, в политический фантом. «У императора была отнята последняя возможность сформировать мощную центральную власть с помощью введения чрезвычайного положения. При “чрезвычайно настоятельной потребности” императору хотя и не нужно запрашивать разрешения сословий, но для сбора необходимых налогов он все же должен выслушать мнение шести курфюрстов... Также и при явном нарушении мира или упорном неповиновении того или иного сословия ему не разрешается объявлять его вне закона без соизволения курфюрстов, следовательно, даже при очевидных обстоятельствах впредь будет необходим особый процесс, и прежняя точка зрения императора, в соответствии с которой объявление вне закона может вступать в действие *ipso facto*, уже не допускается» (Там же). Таким образом, здесь Шмитт ставит точку в своей отповеди романтикам, связывавшим поражение дела императора то ли с возвышением Валленштейна, то ли с его убийством, — на самом деле, доказывает Шмитт, Валленштейн никогда не имел приписываемой ему власти и значения, а личность конкретного полководца второстепенна по отношению к тому, даны ли ему полноценные полномочия комиссара-диктатора. Сама же ситуация показывает, что в критических условиях традиционные права, дискуссия и противоположность интересов затрудняют принятие решения и снижают эффективность любого из выбранных вариантов. И если бы историческая часть «Диктатуры» на этом закончилась, были бы все основания считать Шмитта безусловным этатистом и сторонником принципа единоначалия власти. Однако в следующих главах разбирается другой важный исторический сюжет — Великая французская революция.

Диктатура и революция

Анализ диктаторской практики французской монархии Шмитт ведет с середины XVII в., когда короли начинают назначать в области страны своих интендантов, реализующих их указы на местах. Таким образом, речь идет о той степени полновластия, которой так и не смогли достичь германские императоры. Несмотря на то, что функции интендантов в основном надзорные, в глазах свободных сословий они олицетворяют собой растущую королевскую власть и вызывают

более или менее активное противодействие местных парламентов (С. 120 – 121). На этом фоне разворачивается дискуссия между сторонниками «промежуточной власти» и рационалистами-физиократами о том, как именно должны реализовываться властные решения.

Главным сторонником «промежуточных инстанций», *corps intermédiaires*, т.е. органов сословного самоуправления, опосредующих на местах любое решение короля и его бюрократии, Шмитт называет Монтескье. В основе его теории государства лежит достаточно простой принцип: «Всякая чрезмерная политическая власть... расценивается как враждебная» (С. 124). Единственное средство избежать деспотизма (который по сути и является не чем иным, как сконцентрированной полнотой власти) – сочетать принцип разделения властей с сохранением всевозможных традиционных парламентов, собраний и т.п., которые в силу своего консерватизма и природного недоверия к «произвольным и внезапным проявлениям государственной воли» (С. 122) будут оспаривать любое сомнительное решение власти в независимых судах и добиваться более компромиссных постановлений. Можно лишь предполагать, какое раздражение подобная система вызывала у тех, чья деятельность была напрямую связана со скоростью и эффективностью принимаемых решений, например у того же Валленштейна. Шмитт цитирует такой фрагмент из его переписки: «Эти, из империи, приходят ко мне, много мне говорят о решениях имперского сейма, о Золотой булле и т.п. Не знаю, куда и деваться, когда они заводят эти речи» (С. 114).

При всем при том Шмитт подчеркивает, что концепция разделения властей не является ни республиканской, ни демократической: «Непосредственная демократия сталкивается с тем же возражением, что и абсолютная монархия: народу тоже не должно принадлежать “непосредственное господство”; демократия античных республик тоже была лишена опосредующих, промежуточных инстанций» (С. 124). С рассматриваемым сюжетом эта ремарка связана лишь косвенно: в синхроническом смысле непосредственная демократия для Монтескье – не более чем теоретическая конструкция (или образ из античной истории, т.е. столь же идеальный объект). Однако она привлекает внимание именно этой своей «необязательностью» (как и многие другие вещи, прочитываемые у Шмитта «между строк»). Во-первых, эта мысль очень важна для стройности сюжета работы: она весьма продуктивно предваряет следующую главу «Диктатуры», посвященную событиям Великой французской революции; во-вторых, Шмитта явно не устраивают попытки либерально-демократических авторов «монополизировать» Монтескье на том основании, что его учение оказало ключевое влияние на авторов Конституции США¹². Сама фигура Монтескье – всесторонне образованного интеллектуала-консерватора, сознательно устранившегося

от активного участия в публичной жизни и практически в одиночку противостоящего набирающему силу популистскому прогрессизму — не могла не вызывать симпатий Шмитта. Здесь, таким образом, возникает *первая видимая «точка напряжения»* внутри «Диктатуры»: до сих пор Шмитт выступал в целом как апологет этого института, в конце предыдущей главы косвенно обвиняя императора в отсутствии решимости для предоставления диктаторских полномочий, когда они были необходимы. Монтескье же, принципиальный противник любого неопосредованного проявления политической воли, удостаивается от Шмитта неожиданно подробного и тонкого анализа; эта симпатия становится еще более явной, когда Шмитт начинает говорить о противниках Монтескье, выведших диктатуру на принципиально новый уровень.

Разговор о рационалистах-просветителях начинается с оглашения их стремления к «узаконенному деспотизму» (*despotisme légal*). Используя этот термин XVIII в., Шмитт одновременно подчеркивает собственную изначальную дистанцированность от деятелей Просвещения: вся его предшествовавшая апологетика и положительные коннотации относились к диктатуре, но никак не к деспотизму. Уже Вольтер, первый из сторонников просвещенного абсолютизма, «находит постыдным и гнусным»¹³ тот порядок аристократической автономии, который отстаивает Монтескье (чуть раньше эти же институты, и также с отсылкой к Вольтеру, называются «варварской бессмыслицей»). Попытка дискредитации взглядов оппонента через указание на их аморальность — практика, которую Шмитт вполне мог видеть в веймарском парламентаризме и к которой едва ли мог испытывать хоть какое-то сочувствие. Однако Вольтера от более радикальных суждений еще удерживает некоторый скептицизм в отношении абсолютизма, как и то, что он «слишком хорошо знает положительные стороны демократии» (С. 130). «Философы-экономисты», среди которых Шмитт выделяет Кене, Дюпона де Немура, Мерсье де ла Ривьера и, с некоторыми оговорками, Гольбаха, успешно преодолевают эти сомнения.

Исходный пункт их теорий таков: идеальный социальный и политический порядок существует и достижим, путь к нему открывается посредством «естественного» рационалистически-абстрактного мышления. Во главе государства должны находиться те, кто к такому мышлению способен; поскольку их целью является всеобщее благо, никто не имеет права сопротивляться их решениям. «Государство должно подчиняться законам экономического развития, в остальном же ему дозволено все» (Там же). Просвещенный деспотизм существует как на уровне государства, так и в качестве личного деспотизма того, кто знает истину, над тем, кто к ней глух. «Диктовать позитивные законы, — цитирует Шмитт Мерсье, — значит командовать, а для

этого-то и потребно „публичное насилие“, без которого бессильно любое законодательство» (С. 131). Трудно сказать, что здесь вызывает наибольшее неприятие со стороны Шмитта — безоговорочный примат экономики (унаследованный, понятно, всеми возможными вариантами социализма и вызывающий критику самых разных консервативных авторов — от Ницше до Зомбарта) или столь же безапелляционное размывание области политики философскими, моральными и педагогическими категориями.

Главное отличие этих авторов от Монтескье, по Шмитту, заключается в их неспособности отделить общий принцип от его конкретного применения, на чем, собственно, и строится обоснование отделения законодательной власти от исполнительной: «В абстрактном смысле суверенитет вполне может быть неделимым и безграничным. Но в конкретной практике каждому отдельному функционеру должно отводиться некоторое ограниченное полномочие, и две наивысшие инстанции, законодательная и исполнительная, тоже не должны расширять свои полномочия» (С. 125). С одной стороны, это положение Монтескье вроде бы ставит понятия суверенитета и закона в более уязвимую позицию по сравнению с мыслью того же Мерсье — суверенитет «в абстрактном смысле», законы как «абстрактные принципы» грозят обернуться политической фикцией, фактическим отсутствием как суверенитета, так и законности. С другой стороны, в противном случае закон сводится к техническому обоснованию решений исполнительной власти (прямота Мерсье, уравнивающего «позитивный закон» с приказом или командой, едва ли нуждается в дополнительных комментариях), и его фиктивность — не риск, но состоявшаяся реальность. Только будучи осознанным как общее правило (а не конкретная инструкция), подвергающееся интерпретации каждый раз применительно к текущим условиям, закон может оставаться неизменным, общеобязательным и независимым от чьего бы то ни было произвола — но при этом не превратиться в самодовлеющую силу, для которой компетенции конкретных исполнителей — лишь досадная помеха. Таким образом, потенциальное утверждение об этатизме Шмитта в случае Монтескье получает первое серьезное возражение — законодательство и принятие решений здесь принципиально разделены по разным инстанциям, более того, однозначно призваны *ограничивать эффективность* друг друга; и Шмитт не пытается выдвинуть даже косвенных опровержений этой концепции.

Однако главный предмет шмиттовского анализа мысли Просвещения — все же «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо. «По этой противоречивой книге легче всего показать, насколько критическим было положение континентального индивидуализма, и где располагался тот пункт, в котором он оборачивается государственным абсолютизмом, а его требование свободы — требованием террора» (С. 137).

Заметим, что и из этого тезиса следует более сложное отношение Шмитта к предмету исследования, чем может показаться на первый взгляд. Он не критикует индивидуализм и стремление к свободе как таковые, но показывает, как эти идеи, будучи сформулированными в афористичной и абстрактной манере, сочетаются с конкретными социально-политическими интересами и, будучи особым образом интерпретированы, превращаются сначала в революционные лозунги, а затем — в идеологическое основание для установления режима правового нигилизма и политического террора.

Главная политическая категория у Руссо — всеобщая воля нации, *volonté générale*, которая является не просто суммой волей входящих в нее индивидов. *Volonté générale* фактически независима от партикулярных волей — они ее не формируют, а могут лишь совпадать с ней или не совпадать; поэтому, собственно, всеобщая воля не зависит, как замечает Шмитт (С. 143), от формы правления. Искоренять испорченность и вести общество к преобладанию морального существования над природным может и один человек, и группа — важно то, что знание ими истины объединяет в их лице власть и право. Описывая эту концепцию, Шмитт не делает прямых указаний на ее уязвимость, как в случае Мабли (С. 135 — 136), но красноречивыми умолчаниями все же намекает на ту легкость, с которой разговор о всеобщей воле и общественном благе может перейти в логику политического и правового отчуждения тех, кто к этой воле не принадлежит. «Вопрос о неотчуждаемых правах индивидуума и о сфере свободы, не допускающей вмешательства суверенной всеобщей воли, можно больше не поднимать. Он устраняется простой альтернативой, в которой индивидуальное либо согласуется с всеобщим, и тогда в силу такой согласованности имеет некую ценность, либо не согласуется, и тогда как раз оказывается ничтожным, злым, испорченным и тогда вообще не является волей, достойной внимания в моральном или правовом смысле» (С. 141).

Однако в отношении позиции самого Руссо Шмитт замечает, что она близка традиции стоицизма, т.е. предполагает в первую очередь внутреннее преодоление каждым отдельным индивидом собственных страстей как предпосылку для каких бы то ни было политических действий (а не является лозунгом, эти самые действия сопровождающим). Отсюда же и мысль о том, что лишь «добрый» народ (т.е. имеющий простые нравы, исповедующий открытость в отношениях и чуждый излишним потребностям) достоин свободы и непосредственной демократии. Стремление к развенчанию стереотипов приводит Шмитта к на первый взгляд парадоксальному тезису о том, что «Общественный договор» — не «руссоистское» и не «романтическое» произведение... традиционный порядок, в соответствии с которым рациональная способность возвышается над иррациональными аф-

фектами, здесь еще не сменен на обратный» (С. 143). Под «руссоизмом» здесь явно понимается искаженная трактовка идей «Общественного договора» (возникшая отчасти под влиянием более поздних работ самого Руссо, о которых Шмитт упоминает, но на которые прямо не ссылается), в первую очередь распространяющая понятие «доброго» народа на любое подчиненное большинство вне зависимости от его качеств и текущих исторических обстоятельств. Моральная добродетельность, достижение которой должно быть первым шагом для проявления *volonté générale*, объявляется априори присущей любой силе, способной принять политическое решение. Максима «мы не можем принять политическое решение, пока не уверены до конца в собственной добродетельности» подменяется противоположной: «Раз мы способны к политическому решению, значит мы добродетельны (а наши оппоненты аморальны)». Резюмируя эту ситуацию, Шмитт прибегает к некоторой афористичности: «Руссо вызвался показать, как возможно государство, в коем нет ни одного несвободного. На практике ответ заключался в том, что несвободных уничтожали» (С. 145).

В пятой главе «Диктатуры», посвященной установлению во Франции революционной суверенной диктатуры, этот процесс описывается с показательной сухостью юридического документа, избавленного от излишних эффектов. Мы видим, как через последовательную цепочку декретов Конвента сначала определяются приоритетные для новой власти направления деятельности: установление контроля над армией, поддержание порядка в пограничных провинциях, проведение мобилизации населения и реквизиции продовольствия, установление контроля над местными органами власти. При этом Конвент разделяет упомянутое недоверие Мабли к исполнительной власти, отражая многочисленных комиссаров для контроля исполнения декретов на местах. Результатом этого стало ничем не ограниченное господство законодательной власти, объединившей процессы принятия законов и их исполнения. Комиссары, которые и назначаются из членов Конвента, открыто говорят о собственных *rouvoirs illimités*, беспредельных полномочиях. Они имеют возможность арестовывать «всех подозрительных лиц, которые еще только *могли* нарушить общественное спокойствие» (С. 183). Будучи ограниченными в возможностях использования государственной казны, они тем не менее вправе «оказывать давление на состоятельных граждан, не только для того чтобы подвигнуть их подписаться на революционные займы, но и в интересах всех мыслимых патриотических обязанностей» (С. 185). В их ведении «чистка местных органов власти и служб от контрреволюционеров и аристократов» (С. 181). Логический финал этой деятельности еще более масштабный: «Многочисленными революционными декретами целые категории граждан государства

были объявлены врагами отечества... Не только дворяне, отказавшиеся от присяги священники и их приверженцы, не только ростовщики, спекулянты и распространители ложных сведений, но и вообще все, кто потворствовал “испорченности граждан” и “разрушению власти и общественного здравомыслия”, объявлялись врагами отечества и наказывались смертью. Вследствие этого они были лишены какой бы то ни было правовой защиты и стали объектом действия, руководствующегося только политическими целями» (С. 186).

Цель и действие здесь становятся смысловым центром не только политической структуры революционной «суверенной диктатуры», но и всего повествования Шмитта. Препятствия, которые не давали в свое время Валленштейну действовать максимально эффективно и привели императора к малодушной «капитуляции», наконец преодолены. Революционное государство, подлинный суверен, выносит главное (в трактовке позднего Шмитта) политическое решение — определяет своих врагов, подлежащих уничтожению, и требует безусловного подчинения от всех, кто не желает попасть в эту категорию. Выбор здесь до предела прост — повиноваться и принимать решения «всеобщей воли» как свои собственные или же оказывать сопротивление, руководствуясь словами Гоббса о том, что «человек охотнее выбирает меньшее зло, которое в данном случае состоит в опасности смерти при сопротивлении, чем большее зло, а именно верную и неминуемую смерть при отказе от сопротивления»¹⁴ — и трудно себе представить, чтобы Шмитт нашел в самой ситуации такого выбора хоть что-то привлекательное.

Важно отметить, что в этом описании Шмитт совершенно не предстает противником демократической процедуры или республиканизма. Напротив, он показывает, что революционный террор возможен и при более-менее децентрализованной структуре комиссаров на местах, и при жесткой вертикали управления, и при уже устоявшемся политико-правовом порядке, из которого делаются *исключения* (как временные, так и территориальные). Суверенная диктатура делает именно то, что и должен делать суверен, — назначает врагов и стремится к их уничтожению, и само по себе это не может вызвать возражений Шмитта. Однако тот факт, что этими врагами оказываются случайные граждане того же государства, расставляет акценты в этой проблематике совершенно определенным образом. Такая ситуация стала возможна по причине свершившейся революции — и Шмитта определенно можно назвать противником революции хотя бы потому, что установление нового суверена сопровождается состоянием правового нигилизма и чрезвычайного положения, возведенного в норму. Критерием отнесения целых групп граждан к категории врагов служит их «неразумность» и «испорченность» — и Шмитт выступает против, во-первых, установления таких зыбких и неясных критериев

в качестве основы нового правового порядка, а во-вторых — против идеологии Просвещения (и ее недобросовестных интерпретаторов), открывшей дорогу к такому различению. Наконец, явно подозрительно он относится к прогрессистским лозунгам, которые в максимально абстрактной форме декларируют наступление «новых эпох» и под этим предлогом устраняют «устаревшие» нормы и институты, которые могли бы скорректировать или замедлить проведение революционной политики. Хотя понятие врага разрабатывается Шмиттом в более поздних работах, в «Диктатуре» он совершенно не избегает мысли о том, что враги с неизбежностью существуют и подлежат уничтожению; однако он делает все, чтобы не допустить произвольного и одностороннего зачисления кого-либо в эту категорию.

Заключение

Джорджо Агамбен, говоря об обстоятельствах прихода нацистов к власти, в частности, об указе «О защите народа и государства» от 28 февраля 1933 г., приостановившего на неопределенный срок конституционные гарантии личной свободы, свободы слова, неприкосновенности жилища и т.д., рассуждает вполне в контексте глав «Диктатуры», посвященных чрезвычайному положению (по сути здесь точно так же расчищалось правовое пространство для выявления «испорченных граждан» и расправы над «врагами отечества»). Более того, для национал-социалистических юристов это было именно «желанное чрезвычайное положение» (*ein gewollter Ausnahmezustand*)¹⁵ — однако в контексте вышесказанного остается открытым вопрос, насколько желанным оно было для самого Шмитта.

Агамбен видит его вину в другом — он называет Шмитта главным среди правоведов, «определивших приказ фюрера единственным и непосредственным источником права»¹⁶ и, в частности, наделившим (в работе «Государство, движение, народ», 1933) юридическим значением понятие «раса». «Национал-социалистское понятие расы (или, пользуясь словами Шмитта, «племенное равенство») работает как общая статья закона (аналогичная «состоянию угрозы» или «доброму обычаю»), не отсылая, тем не менее, к внешней ситуации факта, но воплощая в жизнь совпадение между реальностью и правом»¹⁷. Показательно, что Шмитт работает как раз над поиском объективных критериев для определения категории врагов государства — и хотя я бы предпочел воздержаться от комментариев по поводу расы в качестве такого критерия, но трудно не заметить в этом развитие именно затронутой в «Диктатуре» проблематики (как трудно представить себе и масштаб репрессий, которые были бы развернуты, если бы режим Гитлера объявил своей задачей искоренение всех «испорченных», «неразумных» и «внутренне несвободных»). Фюрер, однако, прямо унаследовал многие атрибуты революционного Конвента — точно

так же выступал от имени единой воли народа, объединял в своей фигуре власть и право и устранял все инстанции, препятствующие непосредственной реализации его решений. Более того, он и пришел к власти именно тем путем, об опасности которого Шмитт пытался предупредить веймарских законотворцев¹⁸. Это делает весьма спорной мысль о безоговорочном неприятии Шмиттом Веймарской республики и столь же безоговорочной поддержке нацистов. И если он на некоторых этапах своей жизни принял решения, подтверждающие эти обвинения, то эти решения представляются скорее идущими вразрез с его теоретической позицией, нежели вытекающими из нее.

Возвращаясь к заявленным в начале работы вопросам, можно сказать следующее: представляется, что Шмитт действительно полемизирует с романтиками — *но нигде не отвергает ценности индивидуального человеческого существования и не снимает с государства задачи по обеспечению его правовой защиты*. Жизнь и права отдельного гражданина остаются за скобками исследования диктатуры — однако Шмитт рассматривает все возможности, чтобы оградить эти ценности от непосредственного властного вмешательства, даже в исключительных обстоятельствах. «Эффективное действие», выходящее за пределы правового регулирования, Шмитт действительно допускает — но указывает на необходимость его четкой встроенности в текущий порядок. Такое действие, будь это диктатура или введение чрезвычайного положения, должно быть строго целесообразным, иметь формализованные признаки, позволяющие определить его начало и окончание. Шмитта действительно можно назвать этатистом — но это не делает его сторонником любого установившегося суверенного режима. Диктатура, ставшая суверенной, и чрезвычайное положение, существующее в качестве перманентной нормы, — это не высшая степень развития этих инструментов, а их *искажение*, обнажающее механизмы политического, от чего «Диктатура» в целом предостерегает. Более поздние работы Шмитта были написаны в ситуации, когда эти предостережения не помогли, и он, очевидно, пытается привести право в соответствие с новой реальностью (коль скоро не удалось удержать реальность в рамках прежнего права). Такой взгляд на раннее творчество Шмитта позволит более точно воспринять динамику его взглядов, не упуская и не упрощая положения отдельных его работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: *Филитов А.* Политический романтизм Карла Шмитта // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 1. С. 68.

² См.: *Schmitt C.* Theodor Däublers «Nordlicht»: drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes. Unveränderte Ausgabe der 1916 bei Georg Müller in München erschienenen Erstauflage. — Berlin, 1991.

- ³ См.: Филиппов А. Политический романтизм Карла Шмитта. С. 68.
- ⁴ См.: Schmitt-Dorotić C. Politische Romantik. – München; Leipzig, 1919.
- ⁵ Цит. по: Филиппов А. Техника диктатуры // Шмитт К. Диктатура. – СПб., 2005. С. 294.
- ⁶ Habermas J. The Horrors of Autonomy: Carl Schmitt in English // Habermas J. The New Conservatism: Cultural Criticisms and the Historians' Debate. – Cambridge, 1989. P. 135.
- ⁷ Rawls J. Political Liberalism. Expanded edition. – N. Y., 2005. P. 59 – 60.
- ⁸ Wolin R. Carl Schmitt: The Conservative Revolutionary Habitus and the Aesthetics of Horror // Political Theory. Vol. 20. No. 3 (Aug. 1992). P. 424.
- ⁹ Ibid. P. 425.
- ¹⁰ Шиллер Ф. Смерть Валленштейна // Собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей. Т. II. – СПб., 1901. С. 303.
- ¹¹ См.: Шмитт К. Диктатура. – СПб., 2005. С. 99.
- ¹² О степени влияния Montesquieu на Американскую революцию говорит, в частности, Ханна Арендт, уподобляющая его влиянию Руссо на Французскую революцию (См.: Арендт Х. О революции. – М., 2011. С. 205). При этом Арендт не в меньшей степени, чем Шмитт, озабочена слиянием демократии и либерализма и также связывает эту тенденцию с идеологией Просвещения.
- ¹³ Шмитт К. Диктатура. С. 129.
- ¹⁴ Гоббс Т. Левиафан. Глава XIV // Гоббс Т. Соч. В 2 т. Т. 2. – М., 1991. С. 106.
- ¹⁵ Агамбен Д. Номо сасет. Суверенная власть и голая жизнь. – М., 2011. С. 214.
- ¹⁶ Там же. С. 215.
- ¹⁷ Там же. С. 219.
- ¹⁸ См.: Филиппов А. Техника диктатуры. С. 320.

Аннотация

Статья посвящена проблеме взаимосвязи права и эффективного политического действия в работе Карла Шмитта «Диктатура». Через эту проблему затрагивается вопрос о соотношении государства и прав индивида в системе ценностей самого Шмитта.

Ключевые слова: политическая теория, диктатура, консервативная революция, чрезвычайное положение.

Summary

The article is concentrated on correlation of regular law and effective political action in Carl Schmitt's «Dictatorship». This problem is connected with the question of relation between state and individual rights in Schmitt's system of values.

Keywords: political theory, dictatorship, conservative revolution, state of emergency.